

НАША СТРАНА

Год издания 76-й. Буэнос Айрес, 4 мая 2024

“NUESTRO PAIS”

Buenos Aires, 4 de mayo de 2024

No 3221

Пасхальное Послание

АРХИЕПИСКОПА ГРИГОРИЯ САН-ПАУЛЬСКОГО
И ЮЖНО-АМЕРИКАНСКОГО РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ

“Пасха, Господня Пасха, от смерти бо к жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас приведе!” (1-й ирмос пасхального канона)

С первых веков христианства и по сей день светлейший праздник Воскресения Христова радостно переживается в сердцах всех людей. Великий отец Церкви, святитель Григорий Нисский, в 4-м веке писал - “Ныне и праведник радуется, и грешник надеется исправиться покаянием, и нет человека печального, который не находил бы утешения в торжестве праздника Пасхи Христовой”.

Это величайший из всех праздников - Торжество из Торжеств - и является центром нашей христианской православной веры. Каждый воскресный день мы исповедуем свою веру в Воскресшего Спасителя.

В настоящее время, к сожалению, среди людей распространились чрезмерное увлечение благами мира сего, стремление к почету и славе, отсутствие глубокой веры, терпения, смирения, истинной любви, милосердия и подлинно добрых дел. Бог и Церковь уходят на последнее место.

Из истории известно, что попущение скорбей и болезней всегда было напоминанием человеку, что жизнь - это великий дар Божий людям. В постигающих нас испытаниях мы видим, как зыбка и неустойчива земная жизнь человека.

Но милосердие Божие безгранично. Если мы возвратимся к Богу и принесём Ему покаяние в грехах, возлюбим Воскресшего Спасителя всем нашим сознанием, и принесём Ему нашу любовь и добрые дела, то Господь примет покаяние каждого кающегося человека.

Слово Божие учит: «Ибо Я не хочу смерти грешника, говорит Господь Бог, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был!» (Иез. 33:11). И Сам Господь Спаситель во святом Евангелии говорит: «Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9:13).

Перед Святым Причащением мы произносим такие слова молитвы: «Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешные спасти, от них же первый есмь аз».

В эти святые праздничные дни, будем стараться распространить нашу любовь ко всем, простить всем, особо молиться о тех, кто болен, о тех, кто исполняет свой врачебный долг и, рискуя своей жизнью, помогает другим. Да пошлёт им и всем нам Милосердный Господь Свою укрепляющую Благодать, мудрость и помощь!

Возлюбленные отцы всечестные, братия и сестры, пусть вечное Пасхальное приветствие согревает ваши сердца и входит в ваш дом, наполняя вас верой, надеждой и любовью:

Христос Воскресе!

Всю вручённую мне Богом Южно-Американскую паству, и всех православных христиан, сердечно поздравляю со Светлым праздником Воскресения Христова, молюсь о здравии и спасении всех вас. Желаю всем мира, радости, христианского взаимопонимания, крепкого здоровья, спасения вечного и неоскудевающей Божией Помощи в этой земной, временной жизни.

Воистину Воскресе Христос!

Благодать Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и моё Архипастырское благословение да будет со всеми вами!

Божией милостию, недостойнейший
Григорий

Архиепископ Сан-Паульский и Южно-Американский
Пасха Христова 2024

МЕТАСТАЗЫ СОВЕТСКОСТИ

Русских подвело то, что к концу второго тысячелетия они перестали ощущать опасность. Расслабились внутри частных жизней нулевых годов. Связь со страшным прошлым неожиданно растворилась в тумане; запах грязных туалетов и духов «Москва» перебило многообразие завезённых западных духов и благоухание многочисленных ресторанов. Однако оставалось что-то, что не могло быть исправлено при помощи комфорта.

До этого, все замирали при виде милиционеров. Когда начинаешь всматриваться в аспекты жизни даже сверхуспешных советских людей, ощущаешь это дыхание огнедышащей репрессивной системы. Вот судьба покорителя космоса Сергея Королева. Когда его взяли на работу в тюремную шарашку, это стало для него спасением. Его чудом нашли где-то в лагере, умирающего посреди тряпья.

У него была сломана целостность, которая неправильно срослась, и с тех пор он не мог до конца раскрыть рот. А умер он оттого, что зонд не могли протолкнуть: у него были сломаны все шейные позвонки. И эта метафора - тут как раз подходит: всей стране сломали хребет. И сломали русский язык.

Советский язык это бессмысленная вязь слов, которые ничего не проясняют, а, напротив, запутывают, заматывают смысл.

С помощью этой особенной советской лексики - «мы, как весь советский народ, не позволим подлой империалистической гадине...» можно понять, что этот нечеловеческий, абстрактный язык производит с человеком удивительную операцию: он словно бы позволяет говорящему абстрагироваться от смысла сказанного. Этот смертоносный язык одновременно как бы снимает с тебя личную ответственность за происходящее. Лишает собственных эмоций, переживаний. Как бы выносит тебя за скобки собственной личности. И словно смерти для “врагов народа” требуешь уже не ты сам, а некое абстрактное оно, к тебе не имеющее отношения. Сознательное такое обесчувствование. Обесцененные слова как бы отправляют личность в дополнительное пространство, уже не связанное с твоей индивидуальностью.

Этот язык сокрушающих идиом, с помощью которых можно оправдывать самые страшные вещи. Собственно, этот же язык использовало в сталинские времена и НКВД, и позже КГБ.

Они заставляли невинного человека признаваться в любых преступлениях. Почему человек в итоге соглашался подписать

протокол? Просто эти признания сами по себе были настолько дикими и не имеющими отношения к реальности, что человек думал: все поймут, что это явный бред. Но когда бред становится массовым, он превращается в реальность.

Реальность, в которой живёт современная Российская Федерация; советская, дополненная современностью реальность, связана с беспредельной жестокостью - и одновременно позволяет не замечать её абсурдность, не замечать ужасных вещей. Этот язык образует иную психологическую реальность.

Для лечения тоталитарной травмы в Германии после нацизма понадобились меры прямого хирургического вмешательства. Они касались, в частности, запрета на употребление известных слов и понятий. Это же касалось и символов. Одним из центральных знаков прежней советской идеологии являются бесчисленные памятники Ленину.

Неосоветский тезис - про «уважение к истории» - это как если больной говорит, что раковая опухоль - это часть его тела. И если это так, он очень скоро умрёт.

Единственный способ выжить - хирургическое вмешательство, удаление опухоли, а затем долгая и сложная терапия. Но Российская Федерация не проделала этой операции. Огромное кладбище раскинулось по всему бывшему Советскому Союзу; и заваленная цветами могила Сталина у кремлёвской стены является частью общего заболевания, которое в Российской Федерации так никогда и не было излечено до конца. Отказ от советской топонимики был бы хорошим рецептом, в частности.

Но сегодняшние речи, которые мы слышим от представителей власти, - это абсолютный повтор речей сталинского времени. И возвращением к сталинизму всё неизбежно закончится.

Новая страшная реконструкция происходит в масштабах всей Российской Федерации. Всё это говорит нам о новом тотальном искажении реальности. Это приводит к тому, что преступления, совершенные режимом, в коллективной памяти превращаются в подвиги.

Зло, пустившее корни на омертвевшем советском стволе, опять заражает людей - уже современных. Но метастазы этого процесса мы можем видеть, к сожалению, уже не только в Российской Федерации, но и в разных частях мира.

П. Савельев

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МАСТЕР СЛОВА И МУЖЕСТВЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Первого мая исполнилось 100 лет со дня рождения Виктора Астафьева (1924–2001), сибирского писателя-деревенщика, автора суровой военной прозы и великой повести «Царь-рыба», в которой браконьер на Енисее описан с библейской эпичностью, словно капитан Ахав, увлекаемый в пучину белым китом.

Виктор Петрович Астафьев принадлежал к тому поколению, на которое обрушились все беды советской истории. Его деда «раскулачили» и выбросили с семьёй из собственного дома на улицу. Отца арестовали за «вредительство». Сам Виктор, после смерти матери, оказался на улице и беспризорничал, причём не где-нибудь, а за Полярным кругом – в Игарке. Потом началась война и 17-летний парень ушёл на фронт добровольцем, воевал три года, уцелел в нескольких «мясорубках», куда советские генералы щедро бросали едва обученный и голодный «человекоматериал».

«О нас просто забыли, забыли накормить, забыли научить, забыли выдать обмундирование... Это были не солдаты, а истощённые уставшие старички с потухшими глазами. От недостатка сил и умения большинство из них погибало в первом же бою или попадало в плен...»

Он-то знал давно, на себе испытал главную особенность Красной Армии и общества, её породившего, держать всех и всё в униженном повиновении, чтоб всегда, везде, каждодневно военный человек чувствовал себя виноватым, чтоб постоянно в страхе ощущивался, всё ли застёгнуто, не положил ли чего ненужного в карман ненароком, не сказал ли чего невпопад, не сделал ли шаг вразноступ с армией и народом, то ли и так ли съел, то ли так ли подумал, туда ли, в того ли стрельнул...

Многие его сверстники сгинули ещё на ранних этапах этой советской «школы жизни». Большинство же не вернулось с войны.

В 90-е годы Астафьев будет писать, но так и не успеет закончить роман «Прокляты и убиты» – об уничтоженном поколении двадцатилетних, которых принесли в жертву военным амбициям мар-шала Жукова и других «великих полководцев». Об этой трагедии он говорил всю жизнь. Хотя под советской цензурой рассказывать правду о войне было очень трудно, почти невозможно.

«При печатании в журнале повесть претерпела выкидыши и кастрации». (Из письма Астафьева режиссеру А.Войтецкому. 1973 г.)

Но он не сдавался. Он верил в силу писательского слова, не менее значимого, чем слово президента или судьи. В конце жизни он говорил: «Если бы я точно знал, что делать, и как нам обустроить Россию, то я бы продал свое охотничье ружьё, старый мотоцикл и пианино, и на эти деньги нанял вертолёт, чтобы разбрасывать листовки над страной...»

Вера в слово давала ему мужество заступаться за Солженицына в 1970 году, когда Андропов обсуждал с товарищами по работе серьёзный вопрос – как отомстить автору «Архипелага ГУЛАГ», и варианты предлагались разные. Астафьев счёл для себя униженным промолчать в этот момент: «Не довелось мне читать его новых романов – не люблю я читать и думать под одеялом – униженно это для бывшего солдата и русского

литератора, но и то, что я читал, напечатанное в журнале, особенно «Матрёнин двор», – убедило меня в том, что Солженицын – дарование большое, редкостное, а его взашей вытолкали из членов Союза и намёк дают, чтобы он вообще из «дома нашего» убирался. А мы сидим и трём в носу, делаем вид, будто и не понимаем вовсе, что это нас припугнуть хотят, ворчим по закоулкам, митингуем в домашнем кругу. Стыд-то какой! Вчерашние бойцы, неустрашимые фронтовики и их спутники делают вид, будто ничего не произошло и не происходит. Будто и не ведают, что кровью нашей завоёванное в мире уважение распыляется, улечивается, и те, кто был за нас, отвертываются один за другим. Говард Фаст, Фрэнк Харди, Андре Стил и покойный Джон Стейнбек, Луи Арагон... Что же – опять изоляция? Опять пресловутый железный занавес? Опять это зловещее: «Я не прошу вас доносить друг на друга, но прошу проникнуться друг к другу здоровым недоверием»? А ведь если так и дальше дело пойдёт и все мы по углам от малчины будем – до новой беды снова докатиться возможно».

К концу жизни слово Виктора Петровича стало даже весомее президентского. В 1996 году в деревню Овсянка, где жил Астафьев, приехал президент Ельцин, у которого накануне выборов пал «рейтинг», и Ельцин отправился к великому писателю, чтобы немного «попиариться» на его фоне. Красноярский губернатор, генерал Лебедь, тоже не раз наезжал в гости, на черных джипах, с большой свитой.

Виктор Петрович считал чванство неприятнейшей чертой характера: «Эта вот особенность нашего любимого крещёного народа: получив хоть на время хоть какую-то, пусть самую ничтожную, власть (дневального по казарме, дежурного по бане, старшего команды на работе, бригадира, десятника и, не дай Бог, тюремного надзирателя или охранника), остервенело глумиться над своим же братом, истязать его, — достигая широкого размаха во время коллективизации, переселения и преследования крестьян, обретала все большую силу, набирала все большую практику, и ой каким потоком она ещё разольется по стране, и ой что она с русским народом сделает, как исказит его нрав, остервенит его, прославленного за добродушие характера». (Виктор Астафьев. «Прокляты и убиты»).

Свой незаканченный роман он писал о том «как наши главнокомандующие уничтожали свои армии. Нас, солдат, убивали на Украине, когда отправляли на правый берег Днепра, без поддержки, с минимальным боезапасом, под огонь противника. Убивали под Берлином, который Жуков требовал взять побыстрее, пока союзники не успели подойти. Ради этой великой задачи полмиллиона человек и положили. Хотя Берлин можно было брать, не торопясь никуда, почему бы и не вместе с союзниками? А самое страшное, что эти военные «традиции» – трупами завалить – остались в нынешней армии. Штурм Грозного, да и вся Чеченская война идёт по тому же «сценарию Жукова».

Астафьев не любил советских патриотов, считая их лицемерными подлецами: «...уж если «борец»

орёт слова «Россия!» «Родина!» и т. д. и т. п., значит, поблизости есть кто-то из тех, кому это услышать надлежит, кто может за эти патриотические крики заплатить рублишко, напечатать подборку стихов, увеличить тираж книги и даже ввести в какую ни на есть редколлегию... Изю всех спекуляций самая доступная и оттого самая распространенная – спекуляция патриотизмом, бойчее всего распродается любовь к родине – во все времена товар этот нарасхват».

Не любил власть, построившую социалистическую огромную полунищую зону: «Наши стройки», обёрнутые в застенчивую колючку и в паутину проволоки, над которыми тупо возвышаются сторожевые вышки и гулко гавкают псы, навешивать того мяса, коего недостает не только рабочим и крестьянам, но и детям в детских садах».

Не любил массовую культуру: «Она, массовая культура, как окопная вошь, что грызёт тело, но подтачивает душу: кино, телевизор, приемник, танцплощадка, спортзал, лекторское заведение – всё-всё создается для того, чтобы человек вкушал, что ему дают, учился тому, что вдальбливают в детских учреждениях, в школах, в вузах, в училищах: раб времени, раб машин, раб обстоятельств, не умеющий распорядиться собой, даже если захотел, человек наших дней уже не говорит, он визжит о своей свободе».

Не любил столичных жителей, которые и в те далёкие времена примеряли «белое пальто»: «... успел я заметить и эту самую «отвратительную черту» в характере иных, как правило, бездарных московских писателей... все повадки, вся осанка, весь напор в нём вождистские. А ещё, узнавши, что перед ним провинциал, он и вовсе начинает не говорить, а вещать, провозглашая: «Вы там сидите, а мы тут боремся...»

Не любил Астафьев современную «заумь духовной напряженности». Не любил заморское, иностранное, всякое «преклонение перед Западом», о чём довольно издевательски (хотя и в виде изящной метафоры) написал в рассказе «Ода русскому огороду»:

«Под навесом, звякнув цепью, отряхнулся Пират, знаменитый тем, что у новопоселенки-фельдшершицы, квартирующей вместо известняка, выследил он похожую на тушканчика японскую собачонку и съел ее, приняв за лесную зверушку. С тех пор Пират пожизненно посажен на цепь, безутешно же рыдавшая по собачке постоялица обзывает его смешным, нерусским словом «каннибал» и боязливо, боком скользит по двору, когда приходит за молоком, хотя пес не только кусаться, но и лаять перестал от конфуза и лупцовки, полученной за погубление заморской собачки, стоившей дорожке подсвинка и питавшейся исключительно пряниками».

Не любил он, надо признать, и «националов», озабоченных сохранением своей, отдельной культуры – украинцев, грузин, евреев. В 1986 году состоялась переписка двух писателей – Натана Эйдельмана и Виктора Астафьева.

Эйдельман начал свое письмо со слов восхищения писателем, которому «принадлежат лучшие за многие десятилетия описания природы («Царь-рыба»); в «Правде» он сказал о войне, как никто не говорил. Главное же

– писатель честен, не циничен, печален, его боль за Россию – настоящая и сильная: картины гибели, распада, бездуховности – самые беспощадные». Но далее Эйдельман упрекнул Астафьева в колониальном имперском стиле мышления. Он процитировал рассказ «Ловля пескарей в Грузии», который, по его мнению, был оскорбителен как для грузин, так и для других народов: «Почему-то многие толкуют о «грузинских» обидах по поводу цитированного рассказа; а ведь в нём же находится одна из самых дурных, безнравственных страниц нашей словесности: «По дикому своему обычаю, монголы в православных церквях устраивали конюшни. И этот дивный и суровый храм (Гелати) они тоже решили осквернить, загнали в него мохнатых коней, развели костры и стали жрать недожаренную, кровавую конину, обдирая лошадей здесь же, в храме, и, пьяные от кровавого разгула, они посваивались раскосыми мордами в вончье конское дерьмо, ещё не зная, что соиздатели на земле для вечности строят и храмы вечные». Что тут скажешь? Удивляюсь молчанию казахов, бурятов. И кстати бы вспомнить тут других монголоидов – калмыков, крымских татар – как их в 1944 году из родных домов, степей, гор «раскосыми мордами в дерьмо...» Чего тут рассуждать? – расистские строки. Сказать по правде, такой текст, вставленный в рассказ о благородной красоте христианского храма Гелати, выглядит не меньшим кощунством, чем описанные в нем надругательства».

Астафьева ответил: «Пожелаю Вам того же, чего пожелала дочь нашего последнего Царя, стихи которой были вложены в Евангелие: «Господи! Прости нашим врагам, Господи! Прими и их в объятия». И она, и сёстры её, и братец обезножевший окончательно в ссылке, и отец с матерью расстреляны, кстати, евреями и латышами, которых возглавлял отпетый, махровый сионист Юрковский. Так что Вам, в минуты утишения души, стоит подумать и над тем, что в лагерях вы находились и за преступления Юровского и иже с ним, маялись по велению «Высшего Судию», а не по развязности одного Ежова.»

Самого наркома Ежова и всю систему насилия, на которой держалась советская власть, Астафьев, разумеется, тоже не любил: «Видевший расстрел людей в Игарке, знавший о переселении «кулаков» такое, что и во сне увидеть не дай Бог, ведавший о строительстве Норильска и не всё, но достаточно много получивший объяснений о книге «Поднятая целина» в пятнадцать лет от очень «осведомленных» бывших крестьян, с которыми лежал долго в больнице... я, «умудрившись», созрел, чтоб не иметь дел с той, которая поименовала себя сама – «умом, совестью и честью эпохи!» Совесть – это, надо полагать, Сталин, ум – это, несомненно, Хрущев, ну а честь — это уж, само собой, красавчик чернобровый Брежнев».

Современники представлялись писателю одичавшим безумным стадом, которым управляет недобрая внешняя сила. Как будто печать смерти лежит на всём, что создает такое общество.

Д. Карамышев

ПРОФ. ИВАН ЕСАУЛОВ

«МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК» В ТВОРЧЕСТВЕ СОЛЖЕНИЦЫНА

Хотелось бы преимущественно сосредоточиться на самых, пожалуй, известных персонажах Александра Исаевича, которых можно причислить к подобному типу: именно они и увековечены на московском памятнике Александру Исаевичу: Иване Денисовиче и Матрёне.

Уже в перестройку, в октябре 1987 г., Асир Сандлер в «Собеседнике» заявил: «"Один день Ивана Денисовича" я не принял после первого прочтения категорически... Солженицын описал и тем самым в немалой степени типизировал лагерь того времени. И главной персонажей оказался Иван Денисович, человек с минимальными духовными запросами, замкнутый на своих сиюминутных заботах, но которого Солженицын подал как образ, символ русского народа. А подлинных пролетариев, которые в 20-е годы кончали рабфаки, а потом промакадемии и становились масштабными людьми, подлинную интеллигенцию во всех сферах науки и культуры он соизволил не заметить. Хотя именно она и была главной, основной массой репрессированных, начиная с 37-го года». В сущности, Сандлер лишь повторил, подытожил те упреки, которые были обращены к Солженицыну, начиная уже с самой первой публикации «Одного дня»: не та «главная тема», не о тех, не они главные жертвы советского тоталитарного режима.

Леонид Жуховицкий, рассуждая о Матрёне Солженицына, так — в 1964 году — в «Литературной России» истолковал смысл произведения: «...независимо от первоначальных намерений художника, рассказ показал бессмысленность, обречённость и даже аморальность праведнической морали, несмотря на прекрасные душевные качества самой Матрёны. ...Сколько зла на планете творится послушными руками таких вот праведников! Сколько жуликов и подлецов привычно рассчитывают на их смиренную покорность и неразборчивую доброту! Рассказ убедительно показал, что в борьбе за счастье её и сотен миллионов других Матрён земного шара лучше рассчитывать не на праведников, а на обычных, "грешных" людей».

Стало уже общим местом, когда пишут о Солженицыне, отмечать: «в его прозе переплелись традиционные темы: тема "маленького человека" и тема очищения через страдание».

Действительно, у Солженицына неизменно чувство симпатии и уважения к третируемому фактически, хотя и превозносимым советским официозом, «простым» людям. Как замечает Л.И. Сараскина, «... это был поворот к личности, которая в советской иерархии унижена и подавлена в наибольшей степени, но которая в наименьшей степени живёт по лжи. Это был личный протест против уже принятого обмана оттепели, с её интеллектуальной трусостью и дозированным свободомыслием».

Не будем приводить суждения критиков насчёт того, что к «маленькому человеку» Ивану Денисовичу автор относится «лучше» чем, к примеру, к «образованному» Цезарю Марковичу. Но является ли покорный Иван Денисович («терпила», как подобных людей называют на нынешнем молодёжном сленге) вполне субъектом (личностью)?

Вопрос сложный. Все мы помним финал солженицынского текста: «Засыпал Шухов, вполне довольный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножёвкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошёл день, ничем не омраченный, почти счастливый».

Немыслимый — как будто — для сколько-нибудь уважающей себя личности — «минимализм» солженицынского персонажа, на первый взгляд, склоняет к выводу о практически угасшей субъектности (особенно горько — в авторском сарказме — последнее: «почти счастливый»). Такого рода эстетизация подобной покорности кажется тем более странной, если вспомнить неукротимый бунт против «системы» самого писателя. Или, скажем, его особые симпатии к личности Столыпина, который воплощает ведь совершенно иной человеческий тип, нежели Иван Денисович.

Мы здесь не касаемся вопроса, что Иван Денисович с каким-то особым рабочим азартом, если не сказать удовольствием, словно бы гоголевский Акакий Акакиевич переписывая бумаги, строит, кажется, ещё одну тюрьму для своего же брата, зэка (хотя свой собственный мир, в котором живёт гоголевский персонаж, загруженный работой, было бы крайне любопытно сопоставить с аналогичным стремлением персонажа Солженицына одухотворить казённый и враждебный ему лагерный порядок):

«Мастерком захватывает Шухов дымящийся раствор — и на то место бросает и запоминает, где прошел нижний шов (на тот шов серединой верхнего шлакоблока потом угодит). Раствора бросает он ровно столько, сколько под один шлакоблок. И хватает из кучки шлакоблок (но с осторожкою хватает — не продрать бы рукавицу, шлакоблоки дерут больно). И еще раствор мастерком разровняв — шлеп туда шлакоблок! И сейчас же, сейчас его подровняет, боком мастерка подбить, если не так: чтоб наружная стена шла по отвесу, и чтобы вдлинь кирпич плашмя лежал, и чтобы поперек тоже плашмя. И уж он схвачен, примёрз». Так увлечен Шухов этой подконвойной работой, что «аж взопрел», он подгоняет своих столь же подневольных товарищей: «Подносчиком мигнул Шухов — раствор, раствор под ру-ку перетаскивайте, живо! Такая пошла работа — недосуг носу утереть ... Они ни на миг не останавливались и гнали кладку дальше и дальше ... Бригадир от поры до поры крикнет: «Раствору!»». И Шухов свое: «Раствору!»... он сейчас и брата родного по трапу с носилками загонял бы».

Но что это, если говорить об историко-литературной перспективе (или ретроспективе), за тип героя — Иван Денисович, Матрёна, некоторые другие персонажи Солженицына?

Считается, что фраза «Все мы вышли из "Шинели" Гоголя», авторство которой приписывали то Ф.М. Достоевскому (в беседе с М. де Воюе), акцентирует несомненный приоритет изображения «малень-

кого человека» для новой русской литературы, по крайней мере, с 40-х-60-х гг. XIX века.

Хотя, например, И. С. Шмелёв, тоже отдавший дань в раннем своем творчестве изображению «маленького человека», позже подчёркивал, что и новая русская литература вышла не из гоголевской «Шинели», а «из духовной сущности русского народа, из томлений его по "правде Божией" на земле...».

Современный исследователь В. Н. Захаров утверждает, что в художественном мире Достоевского нет ни «лишних», ни «маленьких» людей: «У него каждый человек велик. Даже Макар Девушкин, социально ничтожный герой первого романа Достоевского...».

Действительно, Достоевский художественно убедительно показал и, тем самым, доказал, что и «маленький» человек может быть и добрым, и злым, и талантливым, и бездарным. Он только лишь не может быть, собственно, «маленьким» (а может только лишь казаться таковым — особенно в сознании полуобразованного человека, из той самой «образованщины», особенности жизненных установок которой весьма убедительно проанализировал Солженицын).

Однако можно ли утверждать, что такой подход к человеку присущ исключительно Достоевскому? По-видимому, он характеризует русскую литературу как таковую — в её вершинных проявлениях.

Здесь не место полемизировать с тенденцией одномерного понимания этого «маленького человека», который будто бы и символизирует «гуманизм» классической русской литературы. Ведь если мы вспомним истоки возникновения темы «маленького человека», то сам историко-литературный материал будет сопротивляться подобной одномерности: например, не только же у Достоевского, но и у Пушкина «маленький человек» Самсон Вырин, помимо понятного читательского сочувствия, обнаруживает некую многомерность (и даже своего рода тиранство, будучи не готов «отпустить» свою «заблудшую овечку», не желая принимать её собственного счастья с Минским). Гоголевский же Акакий Акакиевич из безропотной «жертвы» социума посмертно словно бы превращается в сурового мстителя. И так далее. Примеры можно было бы легко умножить.

Другое дело, что и пушкинская, и гоголевская «линия» была не только позднейшими исследователями, но уже и современниками Пушкина и Гоголя, а затем и писателями 40-60 гг. XIX века, да и, пожалуй, позже, характерным образом редуцирована. В результате этой редукции «маленький человек» был призван стать своего рода иллюстрацией жестокого социума, жертвой «недолжной» русской действительности, вечным укором «царизму». При этом сам герой лишался как пушкинской, так и гоголевской многомерности, объективировался и овнешнялся, из субъекта художественного мира он превращался в объект для всевозможных, преимущественно социологических, манипуляций.

Само понятие «критический реализм», сквозь призму которого десятилетиями рассматривалась и, тем самым, объективировалась русская литература, является навязанным ей и внешним — по

отношению к глубинной основе русской культуры, негодным инструментарием, лишь по известным, далёким от всякой «научности» обстоятельствам, долгие годы монополизировавшим изучение русской словесности.

Понятие христианского реализма куда более адекватно для русской классической литературы. Его уже пытались обосновать при изучении русской литературы; в том числе, пытался и я — в цикле своих работ.

Однако воз и ныне там. Хотелось бы подчеркнуть, что само понятие христианского реализма — явление совершенно иного семантического ряда, нежели принятые обозначения литературных направлений (классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма): речь идёт о трансисторическом творческом принципе, который проявляет себя в литературе и искусстве христианского типа культуры.

Вершинные произведения русской классики базируются именно на этом творческом принципе. В творчестве Пушкина множество чудесных совпадений и чудесных развязок (вспомним хотя бы «Повести Белкина», «Капитанскую дочку»). Но как относиться к подобным сюжетным построениям? Как к наследию авантюрной традиции? как к новеллистическим особенностям? как к издержкам романтических представлений о мире?

Однако совершенно иное научное объяснение вытекает из признания реальности чуда. Если чудо — как свобода Бога — вполне реальный факт, а именно так и считали подавляющее большинство русских писателей, то многие события, кажущиеся на поверхностный взгляд неправдоподобными, либо фантастическими в художественном мире русской классики, могут быть охарактеризованы как проявления христианского реализма.

Тогда понятен скепсис В. М. Марковича, который усомнился в том, что «основой реализма является социально-исторический и психологический детерминизм», ведь именно чудо — как раз та духовная реальность, которая «отменяет» любой плоский детерминизм.

Русская литература создаёт шедевры, которые как в тексте, так и в подтексте наследуют трансисторической христианской традиции в понимании мира и человека. В этих произведениях память этой традиции живёт в давно уже секулярном мире, но эта секулярность всё-таки так или иначе помнит о своих христианских истоках.

Поэтому — в вершинных произведениях отечественной классики — до тех пор, пока русская литература в своем культурном бессознательном наследует христианской традиции, — и «маленький человек» не может быть вполне объективирован, овнешнен, т.е. как бы выведен за пределы христианского представления о человеке.

Толстовский Пьер Безухов «...в плену узнал, что Бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной». До плена толстовский персонаж «...во всём близком, понятном ... видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное», потому что «не умел видеть — прежде — великого, непостижимого

и бесконечного ни в чём». Теперь же Пьер «испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами». Это движение Пьера от «дальнего» к «ближнему» (своему), от масонских абстракций к житейской конкретике, как известно, вполне созвучно и самому Толстому, который позже – с некоторым чисто толстовским радикализмом – и сформулировал это отношение к «простоте» тех, кого считали, даже и в буквальном смысле, «маленькими» людьми: «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят».

В русской литературе – в её магистральном векторе — «маленький человек» вовсе не является «простым», т.е. одномерным существом, которое, будучи вполне объективировано, словно бы лишено божественного Лица. Как же обстоит с этим у Солженицына?

Читая и перечитывая его, можно убедиться, что он наследует именно этой традиции – это не расплывчатая традиция «гуманизма» — несколько покровительственная по отношению к «маленькому человеку», а традиция – христианская. Даже в том социуме, где персонажи, как подчёркивается в тексте «Одного дня...», уже не помнят, какой рукой креститься – правой или левой.

Однако автор показывает, что в культурном бессознательном этих людей – хотя бы некоторых из них – остались не выкорчеванными с корнем некоторые доминантные особенности русской культуры – именно те, которые дошли до XX века — с крещения Руси.

И ладный Иван Денисович, и несурзкая Матрёна из «Матрёнина двора» сохраняют в себе ту же самую личность, которая появляется в русской культуре с христианской эпохи и которую нельзя выкорчевать никаким насильственным принуждением.

Эти «простые люди» — такие персонажи, по Солженицыну, о которых вполне можно сказать знаменитыми завершающими строками «Матрёнина двора»: «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».

Эти строки запоминают все, кто прочёл рассказ Солженицына.

Но обращу внимание на неоднородность, сложность образа Матрёны: ведь до этого финала автор замечает: «И только тут — из этих неодобрительных отзывов золочки — выплыл передо мной образ Матрёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок». Ранее «не понимал»: иными словами, Матрёна не является одномерным по своей сущности предметом сочувственно-гуманистического покровительственного отношения. Напротив, сложность её личности, не понятой ни мужем, ни сёстрами, ни золовками, ни — поначалу — даже и самим автором – проступает только как откровение, как чудо – после постигшей её катастрофы.

Так что фраза автора в середине повести – «так в тот вечер открылась мне Матрёна сполна» — всё-таки не окончательный, а промежуточный итог, ибо выражение «открылась... сполна» ранее опредмечивало и овнешняло героиню. «Открылась» Матрёна читателю,

и автору всё-таки не в «тот вечер», а уже после. После её смерти. И первый шаг к такому – истинному — христианскому пониманию – раскаяние самого автора за то, что он в последнем слове своём упрекнул Матрёну: «И в день последний я укорил её за телогрейку». Героиня и в самом деле «провинилась»: «Тут заметил я, что она в моей телогрейке, уже измазала рукава о льдистую грязь бревен, — и с неудовольствием сказал ей об этом... Так я в первый раз рассердился на Матрёну Васильевну». Авторское «Ах, Матрёна-Матрёнушка» контрастирует с прагматически-бездушным отношением «тёти Маши», той «полувекковой подруги», «единственной, кто любил Матрёну в этой деревне», озабоченной после смерти Матрёны ее «вязаночкой серой» в сундуке, которую та «прочила Таньке», не забывшей забрать эту «вязаночку» из сундука покойницы, пока еще не «налетела» родня... Это раскаяние (покаяние) «Игнатича» (alter ego самого автора), вполне в духе православной традиции, а потому и «законнические» упреки как Н. Н. Старыгиной, так и И.П. Карпова, обращённые к Солженицыну, уличающие его, так сказать, в «недостаточно» христианских установках (и даже в прямо нехристианском характере мировоззрения), характеризуют, скорее, постсоветское филологическое «законничество», нежели способствуют адекватному пониманию «Матрёнина двора».

В целом же, по-видимому, хотя «объектность» некоторых персонажей Солженицына и повышена (сравнительно с персонажами не только Достоевского и Толстого, но и Пушкина с Гоголем), что можно объяснить дискретностью русской культуры в послереволюционную эпоху, но всё-таки нельзя сказать, что эта объектность стала доминантной: в этом смысле Солженицын в изображении человека наследует именно доминантному вектору русской литературы.

Таким образом, при всей само собою понятной разнице своих творческих установок, идеологических пристрастий и предубеждений, общественных надежд и социальных утопий, Толстой, Достоевский, а позднее и Солженицын в изображении «маленького человека» всё-таки наследуют той глубинной традиции, которая органична для русской культуры и базируется на христианском отношении к ближнему своему. Одна из существенных особенностей отечественной литературы состоит в том, что в её вершинных произведениях «маленьких людей» нет. Не только Толстой и Достоевский, но и — ранее — Пушкин и Гоголь художественно показали неисчерпаемость любой человеческой личности.

В русской культуре эта многомерность обусловлена её православным основанием.

Эта христианская традиция многомерна и многоцветна, её недопустимо объективировать.

Русские писатели осваивают в своём художественном творчестве различные её грани, более им близкие, в том числе, и в чрезвычайно неблагоприятных исторических условиях.

ЯЗЫК ПРОПАГАНДЫ

За четверть века путинского правления российская действительность изменилась до неузнаваемости, и то же самое произошло с языком. Изучение языка государственной пропаганды поможет нашим потомкам разобраться в реалиях сегодняшнего дня.

Ещё лет десять назад выступление лица, занимающего должность президента РФ, но при этом использующего в своей речи выражения, присущие шпане из подворотни, — типа «мочить в сортире», «отрежем, чтобы не выросло» — вызывало у интеллигентной аудитории шок. Развенчание культа Сталина, реабилитация жертв политических репрессий — всего этого как будто никогда и не было.

Теперь то, что сперва порицалось, а потом не обсуждалось публично, выставлено на всеобщее обозрение. Видимо, после террористического акта в «Крокус Сити Холле» кто-то решил, что можно всё. Под многолетним воздействием пропаганды произошли изменения в сознании людей, и вернуть прежние представления будет весьма трудно (если вообще возможно).

Обыденной на государственных телеканалах стала демонстрация задержанных, на лицах которых заметны следы пыток. Более того, это преподносится как нечто позитивное, мол, посмотрите, какие у нас доблестные следователи, как быстро добиваются решения поставленных задач. В этой ситуации даже заикаться о таких вещах, как презумпция невиновности, как-то неловко.

РФ, радостно покинувшая цивилизованный мир, стремительно движется по оси истории назад. Не исключаю, что вскоре мы увидим публичные казни при массовом скоплении народа, жадущего хлеба и зрелищ.

Нынешняя неспособность повсеместно торжествующей серости изобрести что-то своё, яркое (пусть даже служащее злу) в полной мере касается и пропаганды.

Эта демонстративность, отсутствие малейшего стыда за свои чёрные дела отражались в языке и в сталинскую эпоху. В ту пору государство говорило о репрессиях без всякого стеснения, называя вещи своими именами. Складывается впечатление, что власти возвращаются к старой практике, хотя до недавнего времени предпочитали пользоваться оруэлловским новоязом, объявляли войну миром, свободу рабством, а незнание силой.

Что можно этому противопоставить? Теперь и нам стоит называть вещи своими именами? Мы зачастую говорим: «Басманный суд

вынес приговор...» И сообщаем об очередном не имеющим ничего общего с отправлением правосудия решении организованной группы лиц в мантиях, под которыми скрываются погоня.

Но хотя постановления псевдосудов выносятся «именем РФ», за каждым из них стоят конкретные имена («судей», «прокуроров», давно забывших о том, что их обязанность — защищать право). И их следует называть своими именами. Равно как и перестать говорить о том, что постановочные выборы являются настоящими, а тот же «суд» является «уважаемым».

Публицист и диссидент Александр Скобов, недавно арестованный, называет вещи своими именами. «Я тотально не уважаю этот суд. Вы можете удалить меня из зала хоть сейчас, я не вижу смысла в дальнейшем присутствии на вашем балагане. Единственный смысл моего присутствия был в том, чтобы плюнуть в физиономию этого суда: я это уже сделал», — заявил он при избрании ему меры пресечения.

Не все, конечно, решатся говорить так откровенно, как Скобов. Но зло, чтобы оно было изжито, должно быть публично названо злом, а не прикрыто эвфемизмами.

Может ли слово правды противостоять чёрному делу? Вполне. Путин начал свое триумфальное шествие к вершине власти с разгрома старого НТВ и до недавнего времени боялся называть имя Алексея Навального в том числе и потому, что хорошо понимает силу слова. Её не следует недооценивать.

Ольга Сечина

КУЛЬТУРА МАТА

В РФ чтобы обратить на себя внимание нужно говорить языком доминантных особей из совков, телепропагандистов Скабеевых-Соловьевых, то есть лишь чуть-чуть прищученным цивилизацией народно-уголовным языком, матерным по матери, но без мата.

Язык российского телевидения такой весь и целиком — мат без мата, квадратура круга, сухая вода.

И язык российской школы тоже весь скоро будет такой. Хотя, как знать, в РФ среди скрепных философов и публицистов уже слышатся призывы ослабить тысячелетний гнет культурных иноагентов и сделать русский мат во всём его несомненном лексическом богатстве нормативным литературным РФ-языком, вернуться, так сказать, к истокам своей совковой цивилизации, показать миру настоящую Родину-Мать, то есть Кузькину Мать (которая для англосаксонского мира со времён Хрущёва является ещё и одним из имён-эвфемизмов русской атомной бомбы).

Дальнейшее одичание и озверение — вот что РФ, к сожалению, ждёт.

А. Григорьев